Павел Уваров

НО ТУТ ВСЕ И КОНЧИЛОСЬ... РОССИЯ В РОЛИ «ВЕЛИКОЙ ИСТОРИОГРАФИЧЕСКОЙ ДЕРЖАВЫ»

Везде историки в первую очередь ориентированы на изучение прошлого своей страны. И лишь в некоторых государствах история всемирная не только преподается в обзорных курсах, но и служит предметом оригинальных исследований. Российская империя и Советский Союз относились, а Российская Федерация пока продолжает относиться к числу именно таких государств. Поэтому вопрос о вкладе России в изучение всемирной истории и о признании значимости этого вклада международным сообществом историков в принципе может быть поставлен. Однако предварительно стоит оговорить некоторые необходимые допущения.

1. Для простоты разговора мы будем считать историю наукой. На самом деле вопрос о научной природе исторического знания и о научном характере ремесла историка является спорным. Но продолжение этих споров займет слишком много времени.

2. По той же причине мы будем исходить из того, что история является кумулятивной наукой. С этим тезисом многие не согласятся, приводя серьезные возражения. Но иначе трудно говорить о вкладе трудов наших историков в мировую науку. К тому же мало кто станет отрицать то, что история обычно сама любит «играть» в кумулятивный характер своего знания: принято считать, что добытое одним историком может быть использовано другим, и все это вместе складывается в некоторую копилку знаний. Отсюда и столь любимые историками слова о «введении в научный оборот».

3. Если определять историю как науку, то трудно не заметить, что она существует в двух ипостасях: интернациональной и нацио-

нальной. В своем интернациональном обличии наука вообще не имеет границ, и потому термины «Академия российских наук» или «Академия польских наук» звучали бы смешно. Но при этом слова о размывании национальных школ пока остаются лишь словами, и история как институт знания по-прежнему не существует вне национальной оболочки. Да и выражения «Российская Академия наук» или «Польская Академия наук» сами по себе смеха не вызывают.

4. Следующее допущение связано с национальной ипостасью истории. В качестве национальной институции история включает в себя национальное сообщество ученых, обладающее определенной организационной структурой, определенными правилами игры и, главное, элементами деонтологии. Это — самовоспроизводящееся сообщество ученых (зачастую обладающее субъектностью, которая, помимо прочего, дает ему возможность солидарно выступать на международной арене). Историки национальной школы по идее должны выработать некую общую и, желательно, социально признанную форму легитимации своего знания. Иными словами, если у каждого историка могут быть сугубо личные причины заниматься своим делом, то статистически все исследователи, образующие совокупность представителей «национальной историографии», склонны схожим образом отвечать на вопрос, чем они занимаются и какая от этого польза.

5. И наконец, последнее допущение относится к использованию термина «великая историографическая держава». В нем нет ничего оценочного, просто в одних странах не занимаются ничем, кроме истории своей страны, а в других на занятия «чужой» историей затрачивают деньги налогоплательщиков (иногда даже немалые), и это ни у кого не вызывает удивления. К числу последних относятся, в частности, США, Франция, Германия, Россия. А, например, такие страны, как Ирландия или Испания, долгое время затрачивали средства в основном на изучение истории своей страны либо регионов так или иначе с ней связанных (в последнем случае, впрочем, espanidad — ареал испанского культурного наследия — распространяется чуть ли не на половину земного шара, и это означает, что отсутствие статуса «великой историографической державы» отнюдь не предполагает национальной ограниченности).

Теперь обратимся к трем периодам изучения всемирной истории в нашей стране.

1

В Российской империи была неплохая школа по изучению всеобщей истории[1]. Оставим в стороне вопрос, как и почему она сложилась, нам достаточно констатировать, что она существовала. Изучение всемирной истории со второй половины XIX в. прочно укоренилось и в университетах, и в Академии наук. Увлеченность российской историей не снижала интереса к истории всеобщей, которой стремились обучить не только студентов, но и гимназистов. Своеобразным доказательством от противного может служить «Всеобщая история, обработанная “Сатириконом”»[2] — талантливая пародия на гимназические учебники по всемирной истории; популярность этой книги предполагала хорошее знание исторического материала достаточно широкими кругами российской публики.

Некоторые достижения российских историков были весьма востребованы на Западе. Высоко ценилось российское византиноведение, в особенности — работы В. Г. Васильевского, В. Н. Бенешевича, Ф. И. Успенского. В этом нет ничего удивительного — к истории Византии имелся большой интерес, основанный на особой роли византийского наследия для судеб России. С источниками дело обстояло хорошо, в науку приходили специалисты с прекрасной филологической подготовкой, византиноведение неплохо финансировалось — помимо бюджетных источников, активно помогали русское Палестинское общество, Православная церковь. Византинисты могли ездить в командировки, работали в архивах, участвовали в международных симпозиумах.

Обратим внимание на болезненный для нас вопрос о языке, столь же непонятном для западных коллег сегодня, как и в начале прошлого века. Так, в рецензиях западных византинистов Адольфа Юлихера и Катберта Тёрнера на труд В. Н. Бенешевича говорилось, что российские коллеги намеренно скрывают некоторые свои важные находки, публикуясь исключительно по-русски[3]. Поэтому иностранные византинисты вынуждены были учить русский — жаловались, но учили. Кроме того, немало публиковалось на иностранных языках, и в том числе — на языках древних, понятных специалистам. Столь нелюбимое российскими гимназистами и сатириками классическое образование делало такие издания возможными.

[1] Наиболее полную информацию об этой школе можно найти в новом комментированном издании справочника: *Бузескул*, 2008.

[2] *Всеобщая история, обработанная «Сатириконом»*, 1993.

[3] Цит. по: *Медведев*, 2000: 35.

Достаточно высоко ценилась русская аграрная школа, изучающая западноевропейское общество. Ведь Россия оставалась страной, где крестьянский вопрос стоял куда острее, чем в странах Западной Европы. Неудивительно, что русские историки, руководствуясь ретроспективным методом, могли усмотреть в поземельных отношениях Средневековья и Старого порядка то, о чем их западные коллеги давно забыли. С интересом и уважением французы встречали труды И.И. Лучицкого по французскому крестьянству Старого порядка. А.П.Г. Виноградов стал основателем классической теории манора и учителем целого поколения английских историков.

В начале XX в. на мировую арену начала выходить петербургская школа изучения Средневековья, во многом связанная с именами талантливых учеников И.М. Гревса. Хорошо была встречена французская публикация О.А. Добиаш-Рождественской («Церковное общество во Франции»)[4], тесно сотрудничавшей со знаменитыми медиевистами Шарлем Ланглуа и Фердинандом Лотом. Выступления представителей российской делегации (А.С. Лаппо-Данилевского, Б.А. Тураева и других) на IV конгрессе исторических наук, проходившем в 1913 г. в Лондоне, произвели настолько благоприятное впечатление, что следующий конгресс решено было провести в Санкт-Петербурге в 1918 г.

Но тут все и кончилось.

2

Всё же старая система умерла после революции далеко не сразу; вопреки многим ламентациям тогдашних ученых она довольно долго жила по инерции. Университеты были разгромлены, но Академия наук продолжала действовать. С.Ф. Ольденбург, ее непременный секретарь, метался, пытаясь то выпустить из тюрьмы арестованных ученых, то раздобыть дрова и продовольствие[5]. Однако сохранялись связи с западными коллегами, к которым добавились историки теперь уже независимых государств. Так, например, можно сказать, что определенное влияние на польскую медиевистику оказал Д.М. Петрушевский, ранее преподававший в Варшавском университете. Более того, ученые продолжали ездить в командировки. Так, например, самый талантливый из учеников П.Г. Виноградова — А.Н. Савин был отправлен в Англию (где, к сожалению, умер от «испанки» — страш-

[4] *Dobiache-Rozdestvensky*, 1911 (на русском: *Добиаш-Рождественская*, 1915).

[5] А то и спасая того или иного ученого от расстрела. См.: *Каганович*, 2006.

ной пандемии гриппа 1923 г.). Когда в 1923 г. в Брюсселе был, наконец, проведен IV Конгресс исторических наук (который по техническим причинам не состоялся пятью годами раньше в Петербурге), Россию на нем представляла делегация не СССР, а Российской Академии наук. Характерно, что до конца 1920-х годов членами РАН продолжали считаться эмигрировавшие ученые — М.И. Ростовцев, П.С. Струве и другие.

Как и для всей страны, 1928—1929 гг. были для исторической науки временем «великого перелома». Произошла «советизация Академии». Как ни пытался маневрировать С.Ф. Ольденбург, старая корпорация была сломлена при помощи «академического дела», ареста десятков видных ученых, в особенности — историков. На следующем конгрессе исторических наук (Осло, 1928 г.) СССР был уже представлен совсем иной делегацией во главе с воинствующим марксистом М.Н. Покровским, который, занимая высокий пост в Наркомпросе, настаивал на отмене преподавания истории. Европейские ученые были тогда шокированы новым обликом российской исторической науки. Впрочем, и советские историки постарались поскорее забыть об этом первом контакте, поскольку вскоре Покровский впадет в немилость, а его ученики будут физически уничтожены. К тому же методологические эскапады следующей делегации историков-марксистов на Варшавском МКИН (1933 г.) привели к не менее конфронтационному эффекту, и традиция участия русских ученых в этих конгрессах надолго прервалась.

Можно говорить о том, что с конца 1920-х годов существовали две русские исторические науки. Некоторые русские историки преуспели в эмиграции, хорошо интегрировавшись в новую академическую среду. Помимо П.Г. Виноградова, возведенного англичанами в рыцарское достоинство за его заслуги перед их страной (впрочем, эмигрировавшего в Англию еще до революции), в этом ряду надо назвать М.И. Ростовцева и Н.П. Оттокара. Этим двум ученым удалось сохранить свои академические интересы и оказаться прекрасно принятыми новой университетской средой. Успех Ростовцева на ниве американского антиковедения, которое изначально не находилось в каком-то более привилегированном положении по сравнению с антиковедением российским, вполне объясним[6]. Достижения же

[6] Ростовцева продолжали много издавать, переводя на немецкий, испанский, голландский и французский языки. Последним (перед новым «открытием» Ростовцева в нашей стране) было французское издание: *Rostoviseff*, 1988. На русский язык этот труд Ростовцева был переведен в 2001 г.: *Ростовцев*, 2000—2001.

Оттокара, ставшего лучшим знатоком истории итальянских средневековых городов, особенно после того, как он возглавил кафедру во Флоренции — более удивительны[7]. Были и другие историки, которым удалось продолжить преподавательскую работу вне России. В Риге всеобщую историю преподавал Р.Ю. Виппер, в Каунасе — Л.П. Карсавин (сумевший освоить литовский язык). Однако чаще специалисты по всеобщей истории становились славяноведами или русистами — как Г.П. Федотов или П.В. Бицилли.

Положение исторической науки в СССР выглядело к началу 1930-х годов, мягко говоря, драматичным. К разгрому университетов добавилась «советизация» Академии. Несмотря на протесты ученых, продолжалась продажа за границу музейных экспонатов и редких книг. Аресты историков все множились, систематические курсы истории были изъяты из школьного преподавания. Впрочем, продолжали работать некоторые исследовательские институты, отдельные новые учебные заведения давали очень неплохое гуманитарное образование — например, ИФЛИ (Институт философии, литературы и истории) или ИКП (Институт красной профессуры).

В конце концов сформировалась новая, уже советская система исторического знания. Я думаю, что начальной датой функционирования этой системы нужно назвать 1934 г., когда было принято постановление СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР». С этого момента история в виде систематического курса возвращается в школы и в высшие учебные заведения (вместе с кадрами «старых» преподавателей), появляются системы школьных и вузовских учебников. Это было лишь начало процесса, а конечной его датой можно считать 1948—1949 гг. До этих годов еще хотя бы гипотетически возможна была деятельность историков не-марксистов или «недостаточных» марксистов. Определенные послабления делались для старой профессуры (И.М. Гревса, Д.М. Петрушевского, репатриированного Р.Ю. Виппера), но с конца 1940-х годов такое было уже немыслимо.

Весь этот период можно назвать «эпохой героев». Ни идеологический контроль, ни репрессии не ослабевали, а даже усиливались, позже к ним прибавились тяготы войны, затем — борьба с космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. В этих нечелове-

[7] Книги Н. Оттокара издавались лишь по-итальянски, но зато интерес к его трудам не ослабевает и сегодня, о чем свидетельствует свежая публикация: *Nicola Ottokar storico del Medioevo...*, 2008.

ческих условиях ученые с дореволюционной подготовкой освоили марксизм (вопрос об искренности их чувств, питаемых к всепобеждающему методу, можно оставить за скобками). Им удалось создать относительно непротиворечивую систему знаний, сохранив при этом остатки академической респектабельности. Соотносясь с источниками по правилам, разработанным историками-позитивистами, они строили свои интерпретационные модели, следуя марксистскому методу. Не всегда это получалось, этот процесс был неравномерен: некоторые отрасли исторической науки так и не были восстановлены (в особенности это касалось источниковедческих дисциплин). Одни области знания (например византиноведение) после учиненного разгрома так и не вернулись на дореволюционный уровень, другие (например, та, которая сегодня называется «историей раннего Нового времени»), напротив, этот уровень явно превзошли. Но в целом можно сказать, что была создана вполне работающая система, годная для внутреннего употребления и обладавшая полным набором характеристик национальной историографии.

При этом не хотелось бы создать впечатление, что я стремлюсь «нормализовать» советскую историческую науку. Она походила на «нормальную» науку не в большей мере, чем СССР походил на «нормальное» общество. Поэтому оценивать советских историков, сравнивая их с историками дореволюционными или, скажем, со школой «Анналов» было бы не очень продуктивно. Прежде всего иной была система легитимации своего ремесла. Советские специалисты по всеобщей истории научились отвечать на вопрос, зачем в условиях враждебного империалистического окружения (либо — форсированной индустриализации, войны, восстановления хозяйства, подготовки к Третьей мировой войне, освоения целины и т.д.) надо изучать историю древнего Рима, Крестовых походов или Войны за независимость американских колоний. Ссылки на общую гуманистическую традицию здесь уже не работали, а приверженность «объективизму» служила одним из тяжких обвинений. В зависимости от «текущего момента» ответ мог быть разным. Например, в духе пролетарского интернационализма: изучение «революции рабов и колонов» (на наличие которой указал тов. Сталин на съезде колхозников) позволяет лучше вскрыть особенности классовой борьбы трудящихся. Или в духе патриотизма: изучать образование Тевтонского ордена важно для того, чтобы вскрыть агрессивную сущность германского милитаризма и героическую борьбу с ним славянских народов. Но главным и наиболее

эффективным был аргумент борьбы с буржуазной историографией и демонстрация превосходства марксистско-ленинского учения. Не удивительно, что советская историческая наука плохо согласовывалась с «традиционными» представлениями о научности. Удивительно, что она хотя бы в чем-то им соответствовала.

Возвращение русской исторической науки в советском обличии на международную арену началось с середины 1950-х. В 1955 г. состоялся X Международный конгресс исторических наук в Риме, где СССР по сути впервые принял полноценное участие. Советская делегация во главе с академиком Е.А. Косминским произвела хорошее впечатление. Интеллектуал дореволюционной формации, свободно владевший основными европейскими языками, автор вполне убедительных эмпирических исследований по аграрной истории и вместе с тем вполне последовательно развивающий марксистскую версию истории — все это было внове и вызывало большой интерес. С тех пор СССР год от года увеличивал свое присутствие на Международных конгрессах. Венцом этого движения можно считать проведение XIII МКИН в Москве в 1970 г.

Но насколько влиятельна была советская историческая наука за рубежом, среди тех, кто не занимался специально историей России?

Западные историки склонны были цитировать советских авторов. Впрочем, тех, которые не были историками. Большое влияние на исследователей оказали концепции экономиста А.В. Чаянова (английский историк Майкл Постан был знаком с ними еще до войны — кстати, Постан родился в России и покинул ее в 1919 г.), о «циклах Кондратьева» заговорили историки 1950—1960-х годов, обратившие внимание на изучение экономической конъюнктуры. Чуть позже пришло увлечение М.М. Бахтиным, В.Я. Проппом и русскими формалистами. Но склонен ли был Запад прислушиваться к советским историкам?

Ответ будет скорее положительным. Да и как он мог не прислушиваться, когда СССР обладал водородной бомбой, запускал ракеты в космос, его танковые армады были в двух суточных переходах от Рейна, стройные ряды историков «стран народной демократии» демонстрировали успешное освоение марксистского метода, а сам марксизм находился на пике популярности среди западных интеллектуалов 1950—1960-х годов?

Иногда это был вполне заинтересованный диалог на равных или почти на равных. Достаточно любопытна переписка академика

Н.И. Конрада с Арнольдом Тойнби или полемика последнего с тем же Е.А. Косминским. К советским историкам, изучавшим Французскую революцию (таким как В.М. Далин, А.З. Манфред, А.В. Адо и другие) прислушивались их французские коллеги, к тому же по большей части сами состоявшие в местной компартии или симпатизировавшие ей. Византинистика восстала из пепла; она мало походила на свою дореволюционную предшественницу (скрупулезное источниковедение уступило место смелым социально-экономическим полотнам), но это была наука, с которой вновь считались западные коллеги. Удачными были контакты в той сфере, которая называлось «вспомогательные исторические дисциплины», не говоря уж об археологии. Некоторые историки получили известность на Западе в силу специфики своей специализации: например, работы Н.Н. Болховитинова, посвященные Русской Америке, были хорошо знакомы американским ученым.

Труды советских историков, основанные на источниках, особенно на источниках неопубликованных, часто становились известны западным коллегам и, если не встречали восторженного приема, то, во всяком случае, принимались к сведению и включались в общие библиографии, а иногда и переводились на европейское языки — например, книга А.Д. Люблинской о Франции эпохи Ришелье[8] или исследование Л.А. Котельниковой о сельской округе итальянских городов Средневековья[9]. И подобных примеров было не так уж мало.

Наряду с этим в известности советских работ присутствовал и элемент славы ярмарочного монстра. Попробуем проследить это на примере книги Б.Ф. Поршнева, посвященной народным восстаниям во Франции накануне Фронды, удостоенной Сталинской премии в 1949 г.[10] Она была основана на написанных королевскими интендантами донесениях, попавших после Французской революции в российские архивы и потому не слишком известных французским коллегам. Но интерес вызвало не столько это обстоятельство, сколько лобовая марксистская интерпретация французского абсолютизма как порождения феодальной реакции на усиление классовой борьбы. Особо поражал нахрапистый стиль изложения, громивший буржуазных фальсификаторов, пытавшихся замолчать массовые народные движения, едва не приведшие к революции в XVII веке. Эта работа

[8] *Lublinskaya*, 1968.
[9] *Kotelnikova*, 1975; 1986.
[10] *Поршнев*, 1948.

стала известна на Западе уже в 1953 г. (после того как была опубликована в ГДР). Затем по инициативе Робера Мандру она в 1963 г. была издана и во Франции[11].

Разрушение привычных для французов стереотипов, соблазнительная простота концепции, железная логика, подкрепленная обильным цитированием источников, завоевали Поршневу немало сторонников на Западе. В то же время язвительной критике подверг книгу Поршнева Ролан Мунье, за которым закрепилась слава консерватора. В результате французское историческое сообщество поделилось, как тогда говорили, на «поршневистов» и «антипоршневистов». Несмотря на то, что в СССР концепция Поршнева встретила ожесточенное сопротивление коллег, сумевших вытеснить ее на периферию марксистской концепции абсолютизма, во Франции по сей день многие уверены, что именно Поршнев воплощал в своих работах «советский» подход к этой проблеме.

Нечто подобное происходило на крупных международных конгрессах, когда представители советской делегации выступали с программными докладами, неизменно вызывавшими критику одних и поддержку других. Перед отправкой на коллоквиум такие доклады надо было обязательно согласовывать, а членам советской делегации предписывалось сообща «давать отпор реакционным вылазкам». При том что на тех же конгрессах советские доклады, опирающиеся на эмпирический материал, воспринимались по большей части вполне спокойно и даже благожелательно, репутация советских историков в целом оставалась весьма специфической. В представлении западного исследователя его «обобщенный» советский коллега действовал по следующему принципу: «если данные источника не укладываются в систему марксистской методологии, то тем хуже для источника». Один из автор «Анналов» в рецензии на книги, посвященные французской историографии — «Современная французская историография» М.Н. Соколовой (1979)[12] и «Историзм против эклектики. Французская историческая школа “Анналов” в современной буржуазной историографии» Ю.Н. Афанасьева (1980)[13], — процитировал характерное высказывание Арнальдо Момильяно о беседах с российскими историками: «<создается> впечатление, что

[11] *Porchnev*, 1963.
[12] *Соколова*, 1979.
[13] *Афанасьев*, 1980.

они имеют в кармане философский камень и поэтому могут лишь снисходительно смотреть на западных коллег...»[14].

Решению больной для отечественной историографии языковой проблемы способствовали историки стран социалистического лагеря, переводившие труды советских ученых (как в случае с Б.Н. Поршневым). Но в большей степени этому содействовала целенаправленная государственная политика. Доклады советских историков старательно переводились на иностранные языки, специальное книжное издательство («Прогресс») занималось публикацией работ советских авторов для зарубежных читателей. Так, например, в 1978 г. была переведена на французский язык трехтомная советская «История Франции»[15]. Она встретила весьма холодный прием в Париже, причем совершенно незаслуженно от критиков досталось вполне приличным людям — Ю.Л. Бессмертному, А.Д. Люблинской, С.Д. Сказкину — авторам первого тома. Рецензенты возмущенно недоумевали, почему этот том, обнимающий все богатство многовековой французской истории от галлов до Французской революции, оказался вдвое меньшего объема, чем второй, посвященный, по сути, «большому XIX в.», не говоря уж о третьем томе, где речь шла лишь о шести десятилетиях XX в. Упрек был явно не по адресу.

Наконец, надо сказать о достаточно щекотливой проблеме, характерной для последних двух десятилетий существования советской историографии. Как следует классифицировать труды С.С. Аверинцева, А.Я. Гуревича, В.Д. Каждана и некоторых других ученых, о которых сегодня говорят как о «несоветской советской историографии»? И содержательно, и, что самое главное, стилистически они начинают явно выбиваться из рамок, в которых существовала национальная историография в СССР. На Западе эти исследователи были известны хорошо, причем их известность начинала выходить за строгие рамки специализации (для советских историков это было, пожалуй, впервые). Но считались ли они историками советскими как в глазах властей, так и в глазах мирового сообщества? Ответить на этот вопрос так же сложно, как ответить на аналогичный вопрос о фильме Тарковского «Андрей Рублев» или о музыке Эдисона Денисова. Думаю, что советское происхождение все же придавало в глазах западных коллег некую особую привлекательность этим сочи-

[14] *Ingerflom*, 1982: 71 (note 4).
[15] *История Франции*, 1972—1973 (французский перевод: *Histoire de France*, 1978).

нениям. Одни ценили в них усилие преодоления, действия вопреки системе, другие видели залог будущей трансформации исторической науки в духе «теории конвергенции». Впрочем, ситуация усложнялась еще и появлением третьей волны эмиграции.

Как бы то ни было, известный французский медиевист Алэн Герро в 1990 г. публикует в «Анналах» статью, где помимо прочего критикует французскую историографию за слабое знание историографии марксистской, в особенности — работ таких историков, как Ю.Л. Бессмертный, А.Я. Гуревич, Б.Н. Поршнев, С.Д. Сказкин в СССР; Витольд Кула, Анджей Вычански, Генрик Самсонович, Бронислав Геремек в Польше; Ева Вернер, Бернард Тёпфер, Экхард Мюллер-Мертенс, Йоханнес Херманн в ГДР[16]. В 1989 г. в Москве с большой помпой прошел коллоквиум, посвященный юбилею школы «Анналов». В речах иностранных коллег звучали непременные здравицы в часть возвращения советской науки в мировую историографию. На очередной XVII конгресс исторических наук в Мадрид советские ученые приезжают, непривычно омолодив состав своей делегации. Все были уверены, что от нашей науки, освободившейся от пут тоталитаризма, следует ждать блестящих свершений.

Но тут все и кончилось.

3

И снова старая система умерла далеко не сразу. Вопреки многим ламентациям тогдашних ученых, она довольно долго жила по инерции.

Авторов, известных прежде — того же А.Я. Гуревича или Л.М. Баткина — продолжали активно издавать на Западе. Продолжался обмен делегациями. Многие историки словно не замечали того, что СССР прекратил свое существование. Так, некоторые школьные учебники, уже именуясь по-новому — «История России с древнейших времен до наших дней», — по-прежнему в качестве древнейшей цивилизации на территории нашей страны называли государство Урарту[17], чем повергали в недоумение коллег из суверенной Армении.

Но Советский Союз кончился, а с ним, парадоксальным образом, кончился за рубежом и интерес к историографии российской. Интерес угасал даже там, где он по традиции был достаточно велик.

[16] *Guerreau*, 1990: 153—154.

[17] См., например: *Орлов, Георгиев и др.*, 1997.

Иностранные византинисты, например, очень быстро начали забывать не только русский язык, но и даже ссылаться на труды русских коллег там, где эти ссылки были бы необходимы. В связи с чем хочется вспомнить слова г-на Брежере из «Современной истории» Анатоля Франса, относящиеся к влиянию военных неудач на международный престиж французской науки:

> «Из письма моего уважаемого друга Вильяма Гаррисона я узнал, что с 1871 г. французская наука перестала пользоваться почетом в Англии, и что в университетах Оксфорда, Кембриджа, Дублина намерено игнорируется руководство по археологии Мориса Ренуара, хотя из всех подобных трудов — это лучшее пособие для студентов. Но там не желают учиться у побежденных. Если верить его словам, то профессор, читающий о происхождении греческой керамики, должен принадлежать к нации, которая славится искусством лить пушки, иначе его не будут слушать. Из-за того, что маршал Мак-Магон в 1870 г. был разбит под Седаном, его собрата Мориса Ренуара не признают в Оксфорде в 1897 г.»[18]

Можно, конечно, счесть это очередным парадоксом галльского ума, но разве перед нами не стоит удивительный пример угасания славы немецкого антиковедения после поражения во Второй мировой войне? И сегодня выросло уже второе поколение антиковедов, не знающих немецкого языка, — ситуация, ранее немыслимая.

С некоторым удивлением обнаружив себя в статусе проигравших в «холодной войне», российские историки были неприятно удивлены тем, что они теперь не интересны Западу в качестве представителей особой национальной историографии.

Правда, в Россию зачастили миссионеры, пропагандирующие то или иное исследовательское направление, надеющиеся завоевать в нашей стране новых приверженцев. Их слушали весьма внимательно, и не только чаемая грантовая поддержка западных фондов была тому причиной, но еще и метафизическая тоска по утраченному единоспасающему марксистскому методу и страстное желание обрести ему достойную замену. Но ни «историческая антропология», ни гендерные исследования, ни психоистория, ни микроистория, ни лингвоповорот не могли занять эту опустевшую нишу в кумирне. Да и было все это улицей с односторонним движением.

Не способствовали налаживанию диалога нашего национального сообщества историков с иностранными коллегами и попытки опереться на новые авторитеты отечественного происхождения: идеи

[18] *Франс*, 1958: 169—170.

Л.Н. Гумилева оказались востребованы разве что в Казахстане и Монголии, русские религиозные мыслители (Л.П. Карсавин, А.Ф. Лосев, Н.О. Лосский) также не очень впечатляли западных исследователей.

Но это совершенно не мешало эффективным контактам на индивидуальном уровне. Мир открылся, историки получили возможность, наконец, работать в архивах изучаемых стран, кому-то удалось хорошо интегрироваться в европейскую или американскую академическую среду. Но если Ростовцев мог все же рассматриваться и как представитель русской науки в изгнании, то о моих сегодняшних коллегах, успешно преподающих в европейских университетах, этого сказать нельзя.

Список локальных достижений современных российских историков может оказаться неожиданно длинным. У нас есть немало молодых ученых, хорошо читающих клинопись и прекрасно знающих коптские и сирийские памятники, наших археологов и кочевниковедов хорошо принимают на Западе, а число знатоков древнеисландского, да и древнеирландского языков превосходит все ожидания. Существует немало вполне эффективных проектов международного сотрудничества. Российская делегация продолжала участвовать в Международных конгрессах историков — правда, численность ее состава раз от раза снижалась. Но все же, если речь идет о солидарном авторитете российской национальной историографии, о ее вкладе в мировую историографию (напомню, что для нас важен критерий известности историка за пределами его узкой специализации), здесь ситуацию трудно назвать отрадной.

Присутствие России на рынке мировой историографии продолжается в качестве «сырьевой державы» — у нас есть много источников, относящихся ко всемирной истории, при этом недостаточно известных западным исследователям — в частности, архивы III Интернационала, документы по Второй мировой войне и многочисленные трофейные коллекции (последние, впрочем, по большей части уже возвращены прежним владельцам).

И все же России пока удается поддерживать статус «великой историографической державы». Этим статусом не обладает в данный момент ни одна из бывших советских республик. В этих молодых государствах (даже тех, которые успешно интегрированы в ЕС), историки сконцентрировали свои усилия на форсированном строительстве национальных версий исторической памяти, то возводя «музеи российской оккупации», то изучая прошлое своей страны в «колониальный период».

Если же говорить о существовании российской национальной историографии, то ее формирование пока еще не завершилось, и никакой когерентной системы наши историки и представляемые ими институции не образуют. Удостовериться в этом легко — стоит лишь вспомнить, как рецензируются вышедшие у нас работы по всемирной истории. Соблазнительно усмотреть в этом действие общей тенденции «конца больших нарративов», порождающей пресловутое «измельчание истории». Но для доказательства противного достаточно взглянуть на национальную историографию экс-советских республик, да и не только их.

Можно уповать на грядущее признание заслуг национальной историографии мировым сообществом историков. Можно, напротив, рассчитывать на признание какого-нибудь историка, действующего вопреки своей национальной историографии (назовем это «эффектом Орхана Памука», обвиненного у себя на родине в оскорблении Турецкой республики). Но и в том, и в другом случае существование национальной историографии необходимо.

Почему Россия здесь отстала от своих бывших коллег по соцлагерю — особый вопрос. Нас интересует сейчас другое: вернут ли себе российские историки известность в мировом масштабе?

Вновь прибегну к цитате, на сей раз из Сергея Довлатова. В последней своей повести «Филиал» он описывал советских эмигрантов, съехавшихся в Калифорнию на конгресс славистов. Эмигранты делились на почвенников и либералов. «Почвенники уверены, что Россия еще заявит о себе. Либералы находят, что, к величайшему сожалению, уже заявила» [19].

Сейчас, когда поиски национальной идеи в нашей стране перешли в практическую плоскость, когда авторитет российских историков вновь несколько подкреплен нефтедолларами, запусками ракет «Булава» и металлическими нотками во властном дискурсе, шансы российских ученых на особую партию в мировом оркестре историков повышаются. Логично ожидать, что первой обретет некую гомогенность именно история России (хотя что такое для России, например, история Украины — вопрос пока не решенный). Но мы — непредсказуемая страна, и поэтому вполне возможно, что роль локомотива здесь может сыграть именно история всемирная. Эффект «вненаходимости», о котором писал в свое время Бахтин, и

[19] *Довлатов*, 2000: 29.

на который так любил ссылаться в своих работах А. Я. Гуревич, или попросту говоря — наше особое, то ли евразийское, то ли «азиопское» положение в качестве созерцателей всемирно-исторического процесса, может дать нам в руки некоторые преимущества. Поэтому с большой долей вероятности вновь можно ждать клича: «Русские идут!». Но вернемся ли мы в мировую историографию в обличии очередного ярмарочного монстра или на правах равных собеседников — зависит от рационального выбора нынешнего поколения российских историков.

Библиография

Афанасьев Ю.Н. Историзм против эклектики. Французская историческая школа «Анналов» в современной буржуазной историографии. М.: Мысль, 1980.

Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX и начале XX века / сост. И. В. Тункина. М.: Индрик, 2008.

Всеобщая история, обработанная «Сатириконом» / [Тэффи, О. Дымов, А. Аверченко, О.Л. д'Ор]. Предисл. В. Н. Токмакова. М.: Наука, 1993.

Добиаш-Рождественская О.А. Церковное общество Франции в XIII веке. Ч. I. Приход. Пг.: Типография Императорской Академии Наук, 1915.

Довлатов С. Филиал (Записки ведущего) // Собр. соч. в 4-х т. СПб.: Азбука, 2000. Т. 4.

История Франции. В 3-х т. М.: Наука, 1972—1973.

Каганович Б.С. Сергей Федорович Ольденбург. Опыт биографии. СПб.: Феникс, 2006.

Медведев И.П. Некоторые размышления о судьбах русского византиноведения // Исторические записки. 2000. № 3 (121). С. 30—47.

Орлов А.С., Георгиев В.А., Полунов А.Ю., Терещенко Ю.А. Основы курса истории России. М.: Простор, 1997.

Поршнев Б.Ф. Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623—1648). М.: Ин-т Истории АН СССР, 1948.

Ростовцев М.И. Общество и хозяйство в Римской империи. В 2-х т. СПб.: Наука, 2000—2001.

Соколова М.Н. Современная французская историография. Основные тенденции в объяснении исторического процесса. М.: Наука, 1979.

Франс А. Современная история // Собрание сочинений в 8 т. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 4.

Dobiache-Rozdestvensky O.A. La vie paroissiale en France an XIII-e siècle d'après les actes èpiscopaux. Paris: A. Picard, 1911.

Guerreau A. Fief, feodalité et féodalisme. Enjeux sociaux et réflexion historienne // Annales. Économies. Sociétés. Civilisations. 1990. Vol. 45. No. 1. P. 137—166.

Histoire de la France. Moscou: Progrès, 1978.

Ingerflom C.S. Moscou: Le procès des Annales // Annales. Économies. Sociétés, Civilisations. 1982. Vol. 37. No 1.

Kotelñikova L.A. Città e campagna nel Medioevo italiano. Roma: Ed. Riuniti, 1986.

Kotelñikova L.A. Mondo contadino e citta in Italia dall'XI al XIV secolo dalle fonti dell'Italia centrale e settentrionale. Bologna: Il Mulino, 1975.

Lublinskaya A.D. French Absolutism, the Crucial Phase 1620—1629 / transl. by B. Pearce. Cambridge: Cambridge University Press, 1968.

Nicola Ottokar storico del Medioevo. Da Pietroburgo a Firenze / A cura di L. Pubblici e R. Risaliti. Firenze: Olschki, 2008.

Porchnev B.F. Les soulèvements populaires en France de 1623 à 1648. Paris: SEVPEN, 1963.

Rostovtseff M.I. Histoire économique et sociale de l'Empire romain / Trad. de l'anglais par Odile Demange. Paris: R. Laffont, 1988.